

# МОЛОДО-ЗЕЛЕНО

Роман

*...В то селенье, где шли молодые года,  
Где я счастья и радости в юности ждал.  
Я теперь не вернусь...*

И.А. Бунин.

## Глава I. РАЗЛЮЛИ МАЛИНА

### 1

Июль отходил с жаром, грозами, ночными зарницами — суматошный месяц, полный тревог и хлопот, коротких снов и трудового угара.

В первой его половине, дуряя до головной боли, от палящих лучей солнца, от ходьбы в наклонку и жажды, пропалывал я со сверстниками хлеба на колхозной обязаловке. Чуть позже стал набирать силу покос, потом и болью иссушающий тело, доводящий до такого изнеможения, когда сам себе кажешься ничтожной былинкой, лишенной мыслей и чувств, когда жизнь едва ворошится в перезвоне безразличия с единственной отрадой — роздыхом.

До крови натирал я ягодицы на худой спине быка, подтягивая к скирдовщикам копны сена. С рассвета и до заката рвала мне жилы на руках примитивными поводьями шалеющая от жары, кровососов и ударов палкой упрямая скотина, ворочая тяжелой головой: чуть зевни, дай слабину — ломанется от этого ада истрадавшееся тягло в кусты или мелкий подлесок и до увечья один миг...

Лишь когда стала притухать покосная страда, выклянчил меня дед у председателя на свою, не менее выматывающую, страду — свой покос.

С рассветом, до восхода солнца, по прохладе, выкашивали мы луговину в редколесье, поближе к деревне. Расчет дед держал двоякий: не удастся выпросить быков в колхозе вывозить сено, так колесянкой — самодельной тележкой, на собственном горбе, вытянем. И снова те же муки, то же угробление...

\* \* \*

Издерганное за день тело просилось на отдых. Казалось, что руки мои и ноги растянуты до полного бессилия, а спина усохла. Ужин с простыми щами и двумя стаканами молока не взбодрил, а лишь натянул теплую истому, клоня ко сну. Тут и появился мой друг — Паша Марфин.

— Пойдешь на улицу? — крикнул он, заметив меня у окошка.

Улицей у нас называли вечерки — танцы у чьего-нибудь двора, на траве-мураве, которые, несмотря на сенокос, все же разгорались по воскресеньям...

И тут, как будто по договору с Пашей, где-то у недостроенного клуба, рыкнула гармошка, раз-другой, и пошла, пошла наяривать что-то развесело-ухабистое, отчего тонко дрогнула душа и замерла в потаенной радости. А в перелив гармошке мягко запел в дальнем проулке, там где жил Петруня Кудров, аккордеон, и опять о том, как «на позицию девушка провожала бойца». Эта мелодия прошивала сердце таким сладким ознобом, что кожа на голове как бы коробилась и волосы шевелились. С этой песней, привезенной когда-то с фронта, Петруня начинал свой ход от дома, где жил с матерью-одиночкой, до места вечернего сбора молодежи. Устоять против такого, будоражившего душу, соблазна я был не в силах. С ней, с щемящей отрадой, пошла по телу и особая бодрость, да такая, какой она бывает лишь в глубоко отдохнувшем и здоровом человеке.

— Завтра, малый, снова на покос, — услышав наш разговор, напомнил дед. — Долго не гуляй...

Какой там покос! Душа запросила своего блага, заглушив слабые телесные позывы об отдыхе и сне. Только там, на улице, можно поймать радостную дрожь от музыки, горячих танцев, шуточных игр; увидеть нарядных девчат и вальжных парней; развесить уши на деревенские новости и измышления тех, кто недалеко ушел от нас в возрасте, но из-за двух-трех лет старшинства якобы познавших кое-что в таинствах любви...

— Во, слышишь, и Петруня аккордеон настроил, — засиял Паша озорными, с зеленцой, глазами. — Будет веселье!..

Петруня Кудров захватил только закат войны, но порошу нюхнул в двух-трех боях, вернулся с медалью и трофейным аккордеоном и заиграл. Да так напевно, как ни одна гармошка, и голосом он не был обделен от природы. И когда затягивал «на позицию» слезы прошибали. Особенно мокроглазили девки постарше, чьих женихов вернулась горстка: тащи-растащи — на всех не хватит; и молодые бабы, потерявшие суженых в войну, одинокие и детные, ходившие на вечорки без особых надежд на милость судьбы, а лишь бы унять душевную тоску, вогнав ее в землю танцевальным трепакон с озорными частушками, да понюхать мужского духа в тех же парных или круговых плясках.

Вокруг Петруни увивались молодайки и перестарки — самые что ни на есть разлюли малина, но он потянулся к Насте Шуевой — первой красавице, а та — к Алешке Красову — тоже бывшему фронтовику. Но Алешка схлестнулся с однодетной вдовой — Груней Худаевой и пошло-поехало. Да не на год-два, а растянулась эта веревочка, витая из девичьих слез, тоски и мужского зубоскальства, на негаданное время, за которое Настя отплыла в третье десятилетие, Алешка утонул в примаках, а Петруня все рвал свой аккордеон вечерами перебраной молодому, на год-два старше меня, гармонисту Федюхе Сусякову — Суслику. Хотя в последнее время он реже и реже выжимал слезу своей фронтовой лирикой — играл лишь по выходным и праздникам, да и то не всегда, и больше приходил на улицу без инструмента, кое-когда подменяя Суслика, и все крутился возле Насти. Клеилось — не клеилось у них — непонятно. Одни разговоры шли да кривотолки разные: будто бы Алешка Красов испортил ее в давний покос и не простил столь скорой доступности. Но так или иначе — время шло, а ясности, конца-края во всем этом не было...

Сумерки поплыли из-за леса на обнесенные пряслами огороды, дворы, в широкий размах улиц. Прислушиваясь к переливам гармоник, мы юрко шли близ палисадников, вдыхая густой аромат разомлевших за день ромашек и конопли, кустов смородины и сирени, усыхающих малинников...

От природы крупный и крепкий Паша ходил с год помощником у плотника Прохора Демина, махал топором и катал срубы и в этой работе еще сильнее повзрослел: плечи у него раздались; руки, разбитые топором, стали крупными, мужскими, с клещевой хваткой — цапнет он кого за бок покрепче и синяк; шея округлая, как-то слитая с затылком. Несмотря на то, что Паша еще в войну начал столярничать по-малому: табуретки, скамейки... — все звали его плотником. Прозвище это закрепилось за Пашей напрочь...

Огромная, красной позолоты, луна выкатилась над потемневшей рощей у околицы, уронив на окрестности розовые отсветы, придающие густой зелени непробивную черноту. Все чудно изменилось в цветовом восприятии: небо залило глубокой проседью; лес зашестинился дегтярным распльвом; дворы — обуглились, окантованные перламутром; травы — свинцово засинели — и в этом необычном пространстве с трепетно-чуткой тишиной, особо страстно бились звуки гармошки и томно натекала мелодия аккордеона...

Говор и смех услышали мы издали и сразу определились кто где. Центр хороводился густо — там наяривали «подгорную» больше девчата. Парней попеременно с ними: двое — трое, и то молодаяки — кому вот-вот в армию служить. У плетня — свой круг. Там парни посолиднее, кое-кто из бывших фронтовиков, а большей частью те, которым выпало счастье миновать окопов, отслужить уже в мирное время, хотя и долго, но все не под пулями. Одному Антону Михалеву не повезло: попал он в особые части на львовщину, и бандитская пуля расшибла ему бедро в «головке» и охромел парень. Но и такому в деревне, из которой вырубili больше половины мужиков, рады — девки гужом возле Антона. А он, несмотря на хромоту, еще так отплясывал «цыганочку» по-особому, по-своему, с припадом на хромую ногу, что любо-дорого было смотреть. Но жениться не торопился. Еще сладкое время текло: коштовались мужики, изведаясь за войну по баням и бабам, ублажали и себя, и их, разгоняя по деревне особый дух, и блазнилось, что эта разлюли малина протянется до скончания века...

Его мы и заметили в кругу, кудлато-кучерявистого, длиннорукого. Он хлобыстал ладонями себе по голяшкам хромовых сапог в такт музыке, поднимая хлопки выше, до груди и снова склоняясь в них почти в присяде.

— Ишь Михалев как токует! — с заметной ноткой уважения и восхищения обдал мне ухо горячинкой Паша.

Вокруг Антона двое — Настя и Нинка Столбцова. Те и вовсе гулко, в дробь, отбивали коленца, трепыхая широкими юбками...

На бревнах, у палисадника, сидели девчонки-недоростки и среди них я увидел Шуру Ключкову, бывшую одноклассницу, бедовую свою отраду по школе, прозванную дролей больше по подначке друзей, чем по душевному трепету, но в груди погорячело, сердечко дрогнуло. Мимо, скорее мимо! Мы остановились у кучки тех парней, что покуривали у плетня. Там уже прислушивались к их говору Коляня Разуваев — Рыжий, и Мишка Кособоков.

— Ну, а че тянуть-то волынку, — уловил я тонкий голосок высокого, по прозвищу Хлыст, Иванчика Полунина, — голодная баба, ноги у них сами собой раздвигаются. Но горячая...

И пошло-поехало. И корбило душу от стыда, и кровь ощутимо толкалась в висках, но непонятная сила удерживала, возле этих петушившихся парней.

— Не заметил, как три ходки сделал, — все нагнетал нездоровое любопытство Хлыст.

К нам мягко, неторопясь, бултыхая широченными матросскими клешами, будто подкрался Рыжий, красноволосый, в густых конопушках.

— Здорово, Плотник, — как-то подобострастно протянул он руку Паше.

— И тебя тем же концом, — Паша сгреб его пальцы в свою лапу и даванул.

Рыжий, прогнувшись, сморщился.

— Пусти! — промямлил он, пытаясь выдернуть зажатую ладонь.

— Это тебе за плотника, — Паша оттолкнул руку Рыжего, будто отбросил.

— А че обидного? — Рыжий попытался улыбнуться, но лишь как-то ощерился. — Меня вон Рыжим кличут.

— Ты и есть рыжий, какой же еще. — Паша поглядывал на него с каким-то пренебрежением. — Ишь вырядился. Где только такие портки шьют. — Он потрепал клеши Рыжего. — Тут на обычные штаны не выкроишь, в заплатах ходим, а председательский сынок вместо брюк юбки носит. — Паша обернулся ко мне, как бы ища поддержки.

Рыжий дернул кадыком, будто сглотнул обиду, подал руку и мне. Она была влажной, мягковатой, и какой-то неприятно липкой...

Тут и Мишка Кособоков подвалил, но уже совсем с другим интересом.

— Гляди, Стрелец, — он кивнул на кучкующихся девчонок нашего возраста и помладше, — сколько невесток подрастает, выбирай — не хочу. Еще и сиськи не выросли, а уже сюда же — на погляденье.

С тех пор, как я стал охотиться, меня, с чьей-то оговорки, прозвали Стрельцом.

— А ты щупал? — Паша усмехнулся.

— Нет. Но пора. Пошли, разомнемся, пощупаем.

— У меня от визга уши болят, — Паша посунулся поближе к взрослым парням, и я за ним.

— Отчебучивает Настя, — теперь они говорили про пляшущих. — Все Алешку завлекает, — это опять осканился в ехидной улыбке Хлыст, — а он ноль внимания — фунт презрения: испробовал где-то в копне и отвалил — не понравилась, широка в разводе...

Гнусные его слова скребанули за сердце. Вспомнилось, как Настя, когда-то давно, крадучись, поила меня парным молоком на колхозной дойке, как непривычно возбуждающе пахли ее одежды, когда она прикрывала меня полой тужурки пока я тянул густую вкуснятину из алюминиевой кружки, как после она всегда сладко тревожила меня своими интимными шутками, как кружилась у меня голова от ее броской красоты, как мечтал я поскорее вырасти и жениться на Насе, уведя ее от всех похотливых взглядов и притязаний — возрастная разница в шесть лет меня не волновала... Подлые измышления Хлыста все туже и туже затягивали в моей душе то светлое, что многократно лелеялось в мечтах, нежилось в сердце и снилось. И чем сильнее сжимались те отрадные грезы, тем жестче накатывалась злоба на этого похабника, и будь я постарше — наверняка бы заехал Хлысту в ухо, но силенок еще было маловато, чтобы лезть на отслужившего в морях парня, хотя и не ахти какого в крепости, но и не слабого. Мысли плыли о другом: почему стоящие подле Хлыста парни не одергивали его? Неужели и им были интересны эти грязные наветы, или они понимали все как-то по-иному? Может Хлыст обиняком изливал свою обиду в этих высказках — поговаривали, что когда-то Настя отринула его ухажерство и сотоварищи сочувствовали ему? Так или не так, но чем больше трепался Хлыст, тем удушливее давила меня злоба. Не в силах сдерживать ее, я отошел в тень палисадника, сглатывая тугие комки горечи и сжимая зубы, решив уйти втихаря домой. Но Паша догнал меня.

— Ты куда, Ленка, только интерес начинается?

— Да ну их, слушать противно. Одни гадости. Дать бы ему под яйца...

Паша меня понял.

— Под яйца — не под яйца, а вот из рогатки можно врезать. — Он достал из кармана рогатку с широкой резиновой тетивой. — У меня и два-три катыша, есть. — Паша, не в силах погасить озорную детскую привычку и не имея ружья, нет-нет да и упражнялся стрельбой из рогатки по воробьям.

Я молчал, все еще не освободившись от тяжелых чувств.

— Сейчас ему не влепишь, в кучке стоит. Но подчучелим...

Не очень понравилась мне Пашина затея, но жгучее злорадство шевельнулось в душе.

— Я бы и так ему фингалов наставил, — шаря в глубоком кармане штанов, все утешал меня друг. — Да шуму будет по деревне. Еще и в сельсовет потянут.

Совсем близко мягко заиграл аккордеон — у палисадника появился Петруня со своим неразлучным другом — Васиком Вдовиным, и гармошка утихла, уступив вечернюю тишь голосам и смеху. Но тут же поплыла мелодия вальса, и совсем по-иному задвигались в кругу танцующие.

Зашевелились и парни, что покуривали в стороне. И чуть ли не первым откачнулся от них Хлыст, заспешил к кучке девчат, толпившихся на краю «точка». Тут Паша и натянул тетеву рогатки, заложив в кожанку сухой глиняный шарик.

Вскрик — Хлыст согнулся, хватаясь за бок, резко сиганул назад, зыркая по сторонам. Но Паша успел спрятать свое оружие, и мы, как ни в чем не бывало, заговорили, делая вид, что ничего не заметили.